

ФЕРНАНДО  
ПЕССОА

КНИГА

НЕПОКОЯ

Фернандо Пессоа

**Книга не покоя**

«Ад Маргинем Пресс»

УДК 821.134.3-3  
ББК 84(4Пор)6-44

**Пессоа Ф.**

Книга непокоя / Ф. Пессоа — «Ад Маргинем Пресс»,

ISBN 978-5-91103-263-0

Впервые опубликованная спустя пятьдесят лет после смерти Фернандо Пессоа (1888–1935), великого португальского поэта начала XX столетия, «Книга непокоя» является уникальным сборником афористичных высказываний, составляющих автобиографию Бернарду Суареша, помощника бухгалтера в городе Лиссабоне, одной из альтернативных личностей поэта. Эта «автобиография без фактов» – проза поэта или поэзия в прозе, глубоко лиричные размышления философа, вербальная живопись художника, видящего через прозрачную для него поверхность саму суть вещей. «Книга непокоя» призвана, загипнотизировав читателя, ввести его в самое сердце того самого «непокоя», той самой жажды-тоски, которыми переполнены все произведения Пессоа.

УДК 821.134.3-3  
ББК 84(4Пор)6-44

ISBN 978-5-91103-263-0

© Пессоа Ф.  
© Ад Маргинем Пресс

# Содержание

Вступление	6
Автобиография без фактов	8
Литания	14
Нелепость	17
Симфония одной беспокойной ночи	22
Болезненный промежуток	25
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# **Фернандо Пессоа**

## **Книга непокоя**

FERNANDO PESSOA  
LIVRO DO  
DESASSOSSEGO

COMPOSTO POR BERNARDO SOARES,  
AJUDANTE DE GUARDA-LIVROS  
NA CIDADE DE LISBOA

TRADUCAO DA I RYNA FESHCHENKO-SKVORTSOVA  
CONSULTAS DO PEDRO SERRAO

© Ирина Фещенко-Скворцова, перевод, 2016  
© ООО «Ад Маргинем Пресс», 2016

## Вступление

Попадают порой в Лиссабоне ресторанчики или харчевни, в которых над нижним этажом – лавкой, похожей на приличный трактир, возвышается мансарда, тяжеловесная и скромная, напоминающая кабачок в глухой деревушке без транспорта. В подобных надстройках, полных разве что по воскресеньям, можно наблюдать любопытные типы, безучастные лица, целый ряд персонажей из драмы жизни.

Желание покоя и невысокие цены часто приводили меня в определенный период моей жизни в одно из таких заведений. Случилось так, что, ужиная около семи вечера, я почти всегда встречал там одного субъекта, чья внешность, поначалу меня не интересовавшая, малопомалу становилась мне любопытной.

Это был мужчина на вид лет тридцати, худой, скорее высокий, чем низкорослый; садясь, он как-то преувеличенно сутулился, но сутулость была менее заметна, когда он стоял; одевался он с определенной небрежностью, но нельзя сказать, чтобы вовсе неряшливо. Выражение страдания в замкнутом и бледном его лице не усиливало участия к нему, и было сложно определить, какой именно оттенок страдания застыл в его чертах – он был похож на след лишений, на тоску и на то горькое терпение, которое у страдающих слишком много рождается безразличием.

На ужин он ел всегда немного, заканчивал ужин, выкуривая унцию табаку. Глядел на присутствующих как-то по-своему, не с подозрительностью, а с неким любопытством: не так, будто что-то хочет выведать, а будто интересуется, не желая, однако, запоминать их манеры или проявления их нрава. Эта необычная повадка первая возбудила мой интерес к нему.

Мне случилось рассмотреть его лучше. Я увидел, как отражение мыслей временами несколько оживляет неопределенность его черт. Но подавленность, холодная тоска так часто замыкали это лицо, что было трудно обнаружить под этой маской что-либо еще.

Я узнал случайно, от прислуги в кабачке, что он служил по торговой части где-то неподалеку.

Однажды на улице под окнами произошла драка между двумя субъектами. Посетители, в том числе и я, подбежали к окнам, подбежал и человек, о котором я рассказываю. Я бросил ему несколько необязательных слов, он ответил тем же. Его голос был глухим и дрожащим, как у тех, кто уже ничего не ждет, потому что ждать и надеяться совершенно напрасно. Но, возможно, это было нелепо – приписывать моему случайному знакомому такие чувства.

Почему – не знаю, но с этого дня мы начали приветствовать друг друга. Вследствие каких-то случайных обстоятельств мы постоянно совпадали во времени – оба приходили ужинать в половине десятого – и однажды разговорились. В какой-то момент разговора он спросил меня, не пишу ли я. Я ответил утвердительно. Рассказал ему о журнале «Орфей», появившемся совсем недавно. Он похвалил этот журнал, похвалил достаточно восторженно, что меня немало удивило. Я позволил себе обратить его внимание на то, что произведения авторов «Орфея» были известны немногим. Он сказал, что, возможно, принадлежит как раз к этим немногим. И скромно заметил, что искусство не является для него чем-то совсем далеким: не зная, куда пойти и что делать, не имея ни друзей, которых мог бы навещать, ни интереса к чтению, он имел привычку посвящать ночи на съемной квартире писательскому ремеслу, как и я.

Он меблировал свои две комнаты удобно, почти роскошно. Особенно позаботился о креслах – мягких, глубоких, с подлокотниками, – а также о портъерах и коврах. Он говорил, что создавал таким образом особый интерьер, «поддерживающий достоинство скуки». А при современном убранстве комнаты скука превращается в дискомфорт, причиняет физическую боль.

Он никогда не испытывал принуждения к чему бы то ни было. Будучи ребенком, он проводил время в одиночестве. Так случилось, что он никогда не присоединялся ни к каким группам. Никогда не посещал каких-либо курсов. Ему никогда не приходилось возвращаться в людской толпе. В его жизни произошло то, что имеет место в жизни многих, а быть может, и каждого: вследствие случайных обстоятельств усилились заложенные в нем от рождения инстинкты, склонность к инертности и одиночеству.

Он никогда не был вынужден противостоять требованиям Государства или общества. Он сумел уклониться от требований собственных инстинктов. Ничто никогда его не сближало ни с друзьями, ни с любовницами. Я был единственным, кто – до определенной степени – сумел сблизиться с ним. Но – зная, что он жил всегда как бы под чужой маской, и предполагая, что настоящим другом он меня не считал, – я наконец понял, что он нуждался в ком-то, кому мог бы оставить книгу, которую он и оставил. Мне нравилось думать так, хотя в начале, когда я понял это, мне стало больно. Но затем, посмотрев на все взглядом психолога, я остался его другом, предназначенным для того, ради чего он меня и приблизил к себе, – для публикации его книги.

Даже в этом – любопытно было осознать сей факт – обстоятельства, столкнувшие его с человеком моего нрава, именно тем человеком, который мог бы ему послужить, сложились для него благоприятно.

*Фернандо Пессоа*

## Автобиография без фактов

В этих впечатлениях без связи, без желания связать их я рассказываю отстраненно мою автобиографию без фактов, мою историю без жизни. Это моя Исповедь, и если я в ней ничего не говорю, то лишь потому, что не имею что сказать.

*(Отрывок «Завидую – но не знаю, завидую ли»)*

Я родился в такое время, когда большинство молодых людей потеряли веру в Бога по той же причине, по которой их предки ее имели: не зная почему. И, так как дух человеческий имеет свойство критиковать оттого, что чувствует, а не оттого, что думает, большинство этих молодых выбрали Человечество в качестве замены Богу. Я принадлежу, между тем, к людям, всегда остающимся у края того, к чему принадлежат, видящим не толпу, частицей которой являются, а только большие пространства рядом с собой. Поэтому я не оставил Бога так легко, как они, и не принял никогда Человечества. Я решил для себя, что Бог, будучи недоказуемым, мог бы существовать, и в этом случае его должны были бы обожать; что Человечество, будучи чисто биологическим понятием, означающим просто-напросто вид животных, именуемый человеком, было не более достойным поклонения, чем любой другой вид животных. Этот культ Человечества, с его обрядами Свободы и Равенства, казался мне всегда оживлением древних культов, когда животных обожествляли или богов наделяли головами животных.

Итак, не умея верить в Бога и не имея возможности верить в определенную совокупность животных, я остался в стороне от людей, на расстоянии от всего, что обычно определяется как Декадентство. Декадентство – это полная потеря бессознательности, потому что бессознательность – фундамент жизни. Сердце, если бы могло думать, остановилось бы.

Для того, кто подобно мне живет как бы вне жизни, что остается, кроме немногих партернов, кроме отречения как способа и созерцания как судьбы? Не зная, что такое религиозная жизнь, и не имея возможности узнать это, потому что рассудочной веры не бывает; не имея возможности иметь веру, отвлеченную от человека, не зная даже, что с ней делать, мы имели лишь одну возможность: оставить себе, чтобы не потерять живую душу, эстетическое созерцание жизни. Таким образом, чуждые торжественности всех миров, безразличные к божественному и презирующие человеческое, мы легкомысленно посвящаем себя ощущению без цели, культивируемому в утонченном эпикуреизме – единственному, что соответствует нашей умственной энергии.

Усвоив у науки только то главное наставление, что все покоряется неизбежным законам, против которых ничего нельзя сделать, потому что, сопротивляясь, мы исполняем их; и понимая, как это правило приспособляется к другому, более старому, о божественной предрешенности всего, – мы отрекаемся от усилия, как слабые телом отказываются от атлетических упражнений, и склоняемся над книгой ощущений с большим усердием к учености, которую обретаем.

Не воспринимая ничего серьезно, не считая, что нам может быть дана достоверно другая реальность вне наших ощущений, мы в них укрываемся и их исследуем, как обширные неизведанные земли. И если занимаемся прилежно не только эстетическим созерцанием, но также выражением возможностей и результатов ощущений, то проза или стихотворение, которые мы пишем, не добиваясь, чтобы они были поняты другими или возбуждали в них желания, становятся подобными чтению вслух с целью объективной оценки субъективного удовольствия от чтения.

Мы хорошо понимаем, что все творения рук человеческих должны быть несовершенными, что наименее верным из наших созерцаний эстетического характера всегда будет то, что легло на бумагу. Но все несовершенно, даже самый прекрасный закат, чудеснее которого не может быть ничего, даже легкий бриз, навевающий нам такой сон, что спокойнее не бывает.

Вот так и мы, одинаково созерцающие горы и статуи, читающие наши дни, как читали бы книги, размышляющие обо всем, главным образом для того, чтобы переработать это внутри себя, будем все описывать и анализировать, чтобы эти описания, однажды вышедшие из-под нашего пера, стали чужими, и мы могли бы наслаждаться ими, словно они появились сами собой этим вечером.

Я вовсе не придерживаюсь концепции пессимистов, как де Виньи,<sup>1</sup> для которого жизнь – это тюрьма, где узники плетут солому, чтобы развлечься. Быть пессимистом – значит воспринимать любое событие как трагическое, и подобная установка является преувеличением, доставляет лишнее беспокойство. Конечно, когда мы создаем наши творения, у нас нет четкого представления об их ценности. Конечно, мы создаем их для развлечения, и нас невозможно сравнить с заключенным, плетущим что-то из соломы в стремлении забыть о собственной Судьбе, – скорее, с девушкой, забавы ради вышивающей подушку.

Жизнь представляется мне неким постоянным двором, где приходится ждать прибытия дилижанса, отвозящего всех в небытие. Я не знаю, куда меня отвезет дилижанс, не знаю ничего. Могу считать этот постоянный двор тюрьмой, так как принужден ожидать именно здесь; могу считать его общественным местом, так как встречаюсь здесь с другими. Но я не чувствую нетерпения и не чувствую себя связанным с другими. Я оставляю их запертыми в своих комнатах, безвольно простертыми на постелях, где они лежат без сна; я оставляю их беседующими в залах, откуда доносятся до меня музыка и их голоса. Я сижу около двери и впитываю цвета и звуки открывающегося передо мной пейзажа и тихонько напеваю – только для себя одного – песни, которые слагаю в ожидании.

Для всех нас когда-нибудь опустится ночь, и придет дилижанс. Я наслаждаюсь данным мне легким бризом и душой, которая дана, чтобы я мог наслаждаться им, и ни о чем не спрашиваю, и ничего не ищу. Если то, что я оставляю в книге путешественников, прочитанное однажды другими людьми, развлечет их или поддержит в пути, это будет хорошо. Если же они не прочтут эту книгу или она не задержит их внимания, будет хорошо и это.

Я должен выбирать между вещами, вызывающими во мне отвращение: выбирать или мечту, которую мой разум ненавидит, или действие, которое моя чувствительность отвергает; или действие, для которого я не рожден, или мечту, для которой никто не был рожден.

В результате, ненавидя и то, и другое, я ничего не выбираю; но так как я все-таки должен выбрать: действовать или мечтать, – я смешиваю одно с другим.

В долгие летние вечера я люблю спокойствие нижнего города и особенно тот покой, что контрастирует с сутолокой и шумом дня. Арсенальная улица, Таможенная улица, продолжение печальных улиц, ведущих на восток, пока не заканчивается Таможенная улица, вся эта линия, отделенная от спокойных набережных, – все это меня утешает в печали, если я вливаюсь этими вечерами в их уединение. Я живу тогда в другом времени, в прошедшем, а не в том, в котором нахожусь на самом деле; я могу представлять себя современником Сезариу Верде, и во мне живут не стихи, подобные его стихам, но некая субстанция, что присутствует в его стихах. До самой ночи ношу я в себе ощущение жизни, подобной жизни этих улиц. Днем они полны шума, и это ни о чем не говорит; ночью – отсутствием этого шума, также не говорящем ни о чем. Днем я есть ничто, ночью я есть я. Не существует никакой разницы между мною и улицами, близкими к Таможенной, за исключением одного: они являются улицами, а я – живой душой, но возможно, и это ничего не значит перед тем, что есть сущность всех вещей. У нас одинаковая судьба, ибо и для людей, и для вещей существует определение, одинаково смутное, в алгебре таинства.

<sup>1</sup> Виньи Альфред Виктор де (1797–1863) – французский писатель-романтик. – *Здесь и далее примеч. перев.*

Но есть и еще одно... В эти тягучие, пустые часы поднимается во мне, из глубины души до высот разума, печаль обо всем живущем, горькое сожаление обо всем существующем, — это одновременно и мое субъективное ощущение, и нечто внешнее, то, что не в моей власти изменить. Ах, сколько раз мои собственные мечты являлись мне в каких-то вещах, не заменяя реальности, но для того, чтобы исповедоваться в своем подобии мне, хочу я этого или не хочу, чтобы возникнуть во мне, придя извне, словно трамвай, который возвращается при повороте в конце улицы, или словно голос ночного сторожа, приходящий неизвестно откуда, выделяясь арабской мелодией, как внезапный отход от монотонности сумерек!

Проходят будущие супруги, проходят парами портнихи, проходят молодые люди с их жадной удовольствий, курят на своей бесконечной прогулке люди, отошедшие ото всех дел, возле той или иной двери можно заметить застывших в праздном ожидании хозяев магазинчиков. Неторопливые, сильные и слабые, новобранцы целыми группами галлюцинируют на улицах, чрезмерно шумные или более чем шумные. Приличные люди появляются реже. В этот час автомобили проезжают редко, их шум представляется музыкой. В моем сердце живет целый мир печали, мой покой основан на отречении.

Все это проходит мимо, ничто не говорит мне ни о чем, все это — чужое моей судьбе, чужое, потому что по своей природе — бессознательность, проклятие несуразности, когда случайность правит бал, эхо неизвестных голосов, нелепая мешанина жизни.

...и верх величия мечты, помощник бухгалтера в городе Лиссабоне.

Но контраст не подавляет меня — он меня освобождает; ирония, которая в нем есть, — это моя кровь. То, что должно унижать меня, оказывается моим развернутым знаменем; смех, призванный меня уничтожить, становится горном, с ним я порожаю и приветствую зарю, в которую превращаюсь.

Величие ночи в том, чтобы быть самой значительной, не будучи ничем! Пасмурное величие неизвестного великолепия... И я чувствую внезапно совершенство монаха в пустыне и отшельника в его уединении, заполненное субстанцией Христа на камнях и в пещерах отрицания мира.

И за столом в моей нелепой комнате, жалкий безымянный служащий, я пишу слова во спасение души и купаюсь в золотых лучах немыслимого заката в отдаленных высоких горах, в золотом шитье моей епитрахили, которую выменял за удовольствия, и сверкающего кольца отречения на моем пальце, украшения, оставшегося от моего экстатического пренебрежения.

Вот, передо мной две большие страницы тяжелой книги; я поднимаюсь из-за старого письменного стола с усталыми глазами и еще более усталой душой. Взгляду не представляется ничего, кроме сущих пустяков: склад, тянущийся до улицы Золотильщиков, ряд аккуратных полок, аккуратные служащие, человеческий порядок и заурядный покой. Из окна доносятся разнообразный шум, и этот шум так же зауряден, как и покой, какой царит возле полок. Новыми глазами смотрю на две белые страницы, на которых мои старательные числа представили результаты деятельности человеческого сообщества. И с улыбкой, заметной лишь мне самому, вспоминаю, что жизнь, в которой есть эти страницы с названиями земельных владений и денежными суммами, с их пробелами, и прямыми линиями, и каллиграфией, — включает в себя также знаменитых мореплавателей, великих святых, поэтов всех веков, — и все они нигде не записаны, множество ярчайших личностей, тех, кого вытолкнули в забвение сильные мира сего.

В регистрационной записи, касающейся какой-то неизвестной мне ткани, открываются долина Инда и ворота Самарканда, и поэзия Персии, неизвестно откуда пришедшая, слагает

из своих четверостиший далекую опору моему непокою. Но я не ошибаюсь, пишу, подвожу итоги, и написанное выходит аккуратно и точно из-под пера служащего этой конторы.

Я прошу так немного у жизни, но и в этом немногом она мне отказывает. Луч солнца, поле неподалеку, глоток покоя и кусок хлеба – вот меня уже и не огорчает мое существование, вот я и не требую ничего от окружающих, только бы и они не требовали от меня ничего. Но и в этом малом было мне отказано, словно кто-то не подал милостыню не со зла, а только от нежелания расстегивать пиджак, чтобы достать мелочь.

Пишу, печальный, в моей спокойной комнате, одинокий, каким всегда был, есть и буду. И думаю, не воплощает ли мой голос, кажущийся таким слабым и ничтожным, субстанцию тысяч голосов, неудержимую жажду высказать себя тысяч жизней, терпение миллионов душ, покорных, как и моя, этой повседневной участи, этому бесполезному мечтанию, этой безнадежной надежде. И эта мысль заставляет мое сердце биться сильнее. Жизнь моя становится в эти минуты интенсивнее, подпитываясь энергией других жизней. Я чувствую в себе силу веры, во мне рождается подобие молитвы, подобие мольбы. Но вскоре мне придется упасть на грешную землю... И снова я вижу себя на пятом этаже над улицей Золотильщиков; ощущаю сонливость; вижу поверх наполовину исписанного листа бумаги свою некрасивую руку и дешевую сигарету, которую машинально держу левой рукой над старой промокательной бумагой.

И здесь, на этом пятом этаже, я вопрошаю жизнь! говорю о том, что чувствуют души! продуцирую идеи, подобно мудрецам, гениям! Вот так!..

Сегодня, в одном из этих неопределенных мечтаний, подобного многим, какие составляют большую часть моей духовной жизни, я вообразил себя навсегда свободным от улицы Золотильщиков, от патрона Вашкеша, от бухгалтера Морейры, от всех служащих, от посыльного, от мальчика и от кошки. Я чувствовал так явственно свою свободу, будто приливы южных морей мне уже обещали чудесные острова, которые я должен открыть. Тогда меня ждали бы отдых, свободное творчество, интеллектуальное самовыражение.

Но внезапно, а мечтал я в одной из кофеен, во время скромного полуденного отдыха, в мое воображение ворвался какой-то диссонанс и разрушил мечтание: я почувствовал, что мне жаль чего-то. Да, говорю со всей откровенностью, я почувствовал боль, как от потери. Патрон Вашкеш, бухгалтер Морейра, кассир Боржеш, остальные – служащие, веселый парнишка, который носит письма на почту, мальчик на побегушках, ласковый кот – все они стали частью моей жизни; я не мог всех их оставить без боли, без понимания, что каким бы пустым и ничтожным все это ни казалось мне, часть меня останется с ними, отделение от всего этого есть разделение меня самого, есть подобие моей смерти.

Иначе говоря, если бы завтра меня отделили от всех этих людей и освободили от всего, связанного с улицей Золотильщиков, что вместо этого пришло бы ко мне? почему нечто другое должно было появиться в моей жизни? в какие иные одежды я облачился бы – разве кто-то должен подарить мне другие одежды? Все мы имеем патрона Вашкеша, но для одних он видим, для других – нет. Что до меня, он действительно зовется Вашкешем, это достаточно здоровый мужчина, приятный, порой грубый, но не злопамятный, эгоистичный, но в душе справедливый, отличающийся честностью, которой недостает многим гениям и многим всемирно прославленным людям. Пусть другие будут тщеславнее, будут желать богатства, славы, бессмертия... Я предпочитаю Вашкеша, моего патрона, более искреннего и приветливого в трудные часы, чем все абстрактные патроны в мире.

Один мой знакомый, компаньон преуспевающей коммерческой фирмы, сказал как-то, считая, что я получаю мало: «Тебя эксплуатируют, Суареш». Сейчас мне это припомнилось; однако разве не все мы в этой жизни являемся эксплуатируемыми, так не лучше ли быть

эксплуатируемым Вашкешем, продающим земельные угодья, чем быть угнетаемым высокомерием, славой, досадой, завистью или невозможностью? Есть и такие, кого «эксплуатирует» сам Бог, это пророки и святые в пустыне мира.

Я выбираю для себя в качестве домашнего очага, который есть у других, этот чужой дом, эту просторную контору на улице Золотильщиков. Я укрываюсь за моим письменным столом, как будто он является бастионом, защитой от жизни. Чувствую нежность, нежность до слез, к моим книгам, в которые заново заключаю заключенные контракты, к старой чернильнице, к сгорбленной спине Сержиу, оформляющего накладные для посылок немного в стороне от меня. Я люблю все это, возможно, потому, что мне нечего больше любить, а, может быть, оттого, что ничто по-настоящему не заслуживает любви, и если уж есть потребность отдать свое чувство кому-то или чему-то, не все ли равно: отдать любовь старой чернильнице или холодному безразличию звезд над нами.

Патрон Вашкеш. Замечаю неоднократно, что он меня необъяснимым образом гипнотизирует. Что для меня этот мужчина, по случайному обстоятельству ставший хозяином моих часов в дневное время моей жизни? Он хорошо обходится со мной, вежливо разговаривает, кроме тех моментов, когда, беспокоясь о чем-то нам неизвестном, становится груб со всеми. Да, но почему я думаю о нем? Он для меня какой-то символ? Какой-то довод, основание? Что он для меня?

Патрон Вашкеш. Вспоминаю о нем с тоской уже сейчас, как бы в будущем, когда я буду тосковать о нем, я это знаю. Живя в тишине в маленьком домике на окраине, наслаждаясь покоем, где я не буду трудиться над творением, над каким не тружусь сейчас, я буду бесконечно искать прощения у тех, кем сегодня пренебрегаю. Или буду жить в богадельне, счастливый полным поражением, потерявшийся среди сброда, среди тех, кто считался гениями, но были они не более чем нищими мечтателями, среди безымянной толпы тех, кто не имел ни власти, чтобы побеждать, ни воли к самоотречению, чтобы победить другим способом. Знаю, где бы я ни был, я буду с тоской вспоминать патрона Вашкеша, контору на улице Золотильщиков; монотонная повседневность жизни будет для меня воспоминанием о любви, которая не случилась, или о победах, которые не были моими.

Патрон Вашкеш. Вижу его оттуда, из будущего, как вижу его самого сейчас, передо мной – среднего роста, коренастого, грубоватого до известных пределов, открытого и хитрого, резкого и приветливого – хозяина, кем он стал благодаря его деньгам, с волосатыми руками, двигающимися медленно, с венами, напоминающими маленькие окрашенные мускулы, с мясистой, но не толстой шеей, со щеками, румяными и тугими, с заметной темной бородкой, всегда сбритой вовремя. Вижу его, вижу его жесты, энергично медлительные, его глаза, вбирающие в себя внешнее, чтобы обдумать его, снова расстраиваюсь, как в тех случаях, когда он мною недоволен, и до глубины души радуюсь его улыбке, широкой и очень человеческой, чем-то напоминающей рукоплескания целой толпы.

Думаю, это происходит по той причине, что в моем окружении нет более заметной фигуры, чем патрон Вашкеш, что много раз эта самая обыкновенная личность не выходила у меня из головы и выводила меня из равновесия. Верю, что это какой-то символ. Верю, что где-то, в какой-то давней жизни, этот человек был значительно более важной персоной в моей жизни, чем сейчас.

Ах, я понимаю! Патрон Вашкеш – это сама Жизнь. Жизнь – монотонная и необходимая, властная и непознаваемая. Этот вполне заурядный человек представляет собой банальность Жизни. Он является всем для меня, что приходит извне, потому что Жизнь – все, что находится вне меня.

А если контора на улице Золотильщиков символизирует для меня Жизнь, то мой третий этаж, где я живу, на той же улице, символизирует для меня Искусство. Да, Искусство, которое живет на одной улице с Жизнью, но в совершенно другом месте, Искусство, которое приносит

утешение жизни, но не приносит облегчения живущему, искусство, которое так же монотонно, как и сама жизнь, только по-другому – «в другом месте». Да, эта улица Золотильщиков заключает в себе для меня весь смысл вещей, разрешение всех загадок, кроме тех, что не имеют разгадки.

Да, вот такой я и есть, ничтожный и чувствительный, способный на побуждения сильные и захватывающие, хорошие и плохие, благородные и низкие, но не способный на чувство сохраняющееся, на эмоцию, длящуюся во времени и проникающую в самую глубину души. Во мне живет стремление к постоянной перемене объектов внимания, какое-то нетерпение, присущее самой душе, ее можно сравнить с легкомысленным ребенком; беспокойство, постоянно возрастающее и всегда то же самое. Все меня интересует, но ничто не привязывает. Внимаю всему, пребывая в состоянии, близком к трансу; отмечаю мельчайшие мимические изменения лица собеседника, бережно собираю тончайшие модуляции его голоса, интонации, передающие оттенки настроений и отношений; но, слушая его, не слышу, думая при этом о другом, и главный предмет беседы, таким образом, остается на периферии моего внимания, равно как и смысл сказанного мною и моим партнером остается практически почти вне поля моего зрения. Поэтому я часто повторяю собеседнику то, что уже говорил ему неоднократно, снова задаю ему вопросы, на которые он уже отвечал; зато могу описать фотографически точно и кратко выражение его лица в то время, когда он говорил мне что-то, чего уже не помню, или особую готовность воспринять мои слова в глазах слушателя, хотя уже не скажу, о чем именно я тогда ему сообщал. Во мне живут два человека, и оба держат дистанцию – сиамские близнецы, разделенные и уже не соприкасающиеся друг с другом.

## Литания

Мы никогда не реализуем себя.

Мы – две бездны – колодец, созерцающий Небо.

Завидую – но сам не знаю, завидую ли – тем, чью биографию можно написать, или тем, кто может написать собственную. В этих бессвязных впечатлениях я и не ищу связи, рассказывая беспристрастно собственную биографию, лишенную фактов, свою историю жизни, лишенную жизни. Это моя Исповедь и, если я в ней ничего не говорю, значит, рассказывать нечего.

В чем может признаться кто-либо, что могло бы быть ценным, полезным? То, что с нами произошло, или происходит со всеми людьми, или произошло только с нами; в одном случае это не новость, в другом – это непонятно. Если я пишу о том, что чувствую, то только потому, что таким образом ослабляю лихорадочное желание чувствовать. То, в чем я исповедуюсь, не имеет значения, поскольку ничего не имеет значения. Я творю пейзажи из собственных ощущений. Устраиваю себе отдых в ощущениях. Хорошо понимаю тех, кто, стремясь отогнать печаль, вышивает, вяжет, плетет кружево, потому что это – жизнь. Моя старая тетя раскладывала пасьянс бесконечными вечерами. Эта исповедь впечатлений – мой пасьянс. Не пытаюсь истолковать эти ощущения, как бы это делал тот, кто использует карты, чтобы узнать судьбу. Не ощупываю их, ведь в пасьянсе карты, собственно, не имеют значения. Разматываю себя, как разноцветный моток ниток, или сплетаю из себя самого веревочные фигурки, такие же, как те, что плетутся вручную исколотыми пальцами, а потом переходят от одного ребенка к другому. Забочусь только о том, чтобы большой палец не упустил узел, который он прижимает. Потом поворачиваю ладонь, и изображение изменяется. И возобновляю процесс вязания.

Жить – это плести кружево с тем, чтобы это видели другие. Но, когда делаешь это, твои мысли свободны, и все заколдованные принцы могут гулять в своих парках между одним и другим погружением иглы из слоновой кости с изогнутым концом. Крошэ (*плетение*)... Промежуток... Ничто...

Впрочем, с кем я могу еще говорить, кроме себя? Страшная обостренность ощущений и глубокое понимание состояния чувствования... Напряженность рассудка, способная меня разрушить, и власть нетерпеливой утешающей мечты... Умершее желание и размышление, которое пеленает его, будто живое дитя... Да, плетение...

Бедственности моего положения не ухудшают эти соединенные по моей воле слова, с помощью которых я складываю понемногу свою книгу случайных размышлений. Я продолжаю существовать недействительным в глубине каждого высказывания, как нерастворимый осадок на дне стакана, откуда, кажется, пьется чистая вода. Я создаю литературное творение, как делаю записи в торговых книгах – аккуратно и безразлично. Перед простором звездного неба и перед загадкой многих душ человеческих, перед ночью безвестной бездны и хаосом непонимания, – перед всем этим то, что я пишу в кассовой книге, и то, что пишу на этом листе моей души, одинаково ограничено улицей Золотильщиков, ничто для Вселенной, для ее грандиозных пространств.

Все это – мечта и фантазмагория, ну и что, если бы даже мечта оборачивалась неплохо оплачиваемыми записями? Разве лучше мечтать о принцессах, чем о входной двери в контору? Все, что мы знаем, это всего лишь наше впечатление, а все, чем мы являемся, – всего лишь чужое впечатление, отделенное от нас, будто мы назначаем себя собственными активными зрителями, нашими богами с разрешения муниципалитета.

Знать, что будет несовершенен труд, который не будет закончен никогда. Но хуже, если он вообще не будет создан. То творение, что создается, по крайней мере, уже есть. Ничтожна его ценность, но оно существует, как жалкое растение в единственном цветочном горшке моей

соседки-калеки. Этот цветок – ее радость, а порой и моя. То, что я пишу, жалкое и ничтожное, может также подарить моменты отвлечения от горестей тому или другому больному или печальному духу. Достаточно этого для меня или нет, но мой труд находит какое-то применение, и так бывает всегда.

Скука, включающая в себя предвосхищение еще большей скуки; горе, испытываемое уже сейчас оттого, что назавтра будешь сожалеть, что огорчился сегодня, – страшная путаница, в которой ни пользы, ни истины, страшная путаница...

...где, съездившись на скамье ожидания на полустанке, мое презрение спит под плащом моего уныния...

...мир картин моего воображения, из которого построены также мои познания и сама моя жизнь...

Меня совсем не огорчает, словно не живет во мне вовсе, ограниченность настоящего часа. Я жажду расширения времени, я хочу быть собой, не скованным какими-либо условиями.

Размышляю на пути, где-то между Кашкайшем и Лиссабоном. Поехал по поручению патрона Вашкеша заплатить налог за его дом в Эшториле. Прежде всего, я наслаждался самой поездкой – час туда, час обратно, – рассматривая живописные берега большой реки и ее устья, где она впадает в Атлантику. По правде говоря, во время поездки я заблудился в своих отвлеченных раздумьях так, что смотрел, не видя, на чудесный водный пейзаж, радость от созерцания которого предвкушал; на обратном же пути полностью погрузился в эти ощущения. Я не смог бы описать ни малейшей подробности путешествия, ни малейшего фрагмента увиденного. Я извлек пользу из этих страниц, идя путем забвения и внутренних противоречий. Не знаю, лучше это или хуже, чем противоположный путь, сущность которого для меня также смутна.

Грохот поезда стих, это Кайш-ду-Содрé. Я прибыл в Лиссабон, но не пришел к определенному решению.

Оцениваю спокойно, только улыбаясь в душе, вероятность того, что жизнь моя замкнется навсегда на этой улице Золотильщиков, в этой конторе, в этой атмосфере, среди этих людей. Мне дана возможность есть и пить, у меня есть где жить и есть немного свободы чтобы фантазировать, записывать свои ощущения, спать – чего еще могу я просить у Богов или ждать от Судьбы?

У меня были горячие стремления и грандиозные мечты, но они имеются у любого посыльного или портнихи, ведь мечтают все: что нас отличает, это сила, чтобы осуществить свои мечты, или удача, которая поможет нам осуществить их.

В своих мечтах я равен посыльному и портнихе. Меня выделяют только мои литературные способности. Да, только это действие есть то, что меня отличает от них. В душе мы все одинаковы.

Хорошо знаю, что есть острова к югу, есть великие вселенские страсти...

Если бы на моей ладони лежал весь мир, я уверен, что променял бы его на билет до улицы Золотильщиков.

Может быть, моя судьба – вечно быть бухгалтером, а поэзия или литература – это бабочка, которая, сев мне на голову, делает меня тем более смешным и нелепым, чем прекраснее она сама.

Тоскую по Морейре, но что эта тоска перед большим восхождением?

Понимаю прекрасно, что день, когда стану бухгалтером в конторе Вашкеша и К°, станет одним из великих дней моей жизни. Знаю об этом, предвосхищая всю горечь иронии, но знаю это, отдавая должное истине.

На подкове пляжа, у самого моря, между тропической растительностью и мангровыми зарослями, непостоянство вспыхивающего желания поднималось из неопределенной пропасти небытия. Не было выбора между пшеницей и чем-то другим, даль тянулась между кипарисами.

Ценность отдельных слов или объединенных согласием звуков с сокровенными резонансами и смыслами, расходящимися в то же время, когда они сходятся в одной точке, торжественность выражений, читаемых между другими смыслами, злоба развалин, надежда лесов, и ничего более, только спокойствие, тишина водоемов среди садов моих детских шалостей... Так, между высокими заборами безрассудной отваги, в чаще деревьев, среди беспокойства того, что чахнет, другой, который не был мною, слышал из печальных уст исповедь, отрицающую величайшее упорство. Никогда – даже если бы рыцари возвратились по дороге, видимой с вершины стены, среди звона копий тех, кто их увидел, из внутреннего двора, – не было бы большего спокойствия в Жилище Последних, и не вспоминалось бы другое имя, здесь, на дороге, кроме того, что однажды ночью, подобно мавританкам, заколдовало одно дитя, уже умершее, очаровав его жизнью и чудом.

Воздушные, еле заметные пути последних потерянных, между бороздами, которые были на траве, потому что шаги открывали пустоту среди взволнованной зелени, звучали тягуче, как смутное воспоминание о будущем. Были старыми те, кто должен был прийти, и только молодые не пришли бы никогда. Барабаны катились по краю дороги, и усталые руки держали бесполезные горны, не имея силы для того, чтобы их оставить.

Но снова в очарованном тумане громко звучали утихшие крики, и собаки бродили по аллеям. Все было бессмысленным, как скорбь, и принцессы из чужих снов гуляли вне монастырей бесконечно.

Пишу с ощущением странной боли, причиняемой неким удушьем разума, которое идет от совершенной красоты вечера. Это небо драгоценной синевы, блекнувшей, уступая место бледно-розовым тонам под нежным розовым бризом, рождает в моем сознании желание закричать. Я пишу в конечном счете чтобы убежать и найти пристанище. Избегаю идей. Забываю точные выражения, но они возникают, сверкая, в процессе физического действия, письма, будто производить их – настоящее наказание.

От всего, о чем я думал, что я только чувствовал, остается смутное, бесполезное желание плакать.

## Нелепость

Мы превращаем себя в сфинксов, вернее, их подобие, до тех пор пока не перестанем сами понимать, кто мы. Впрочем, мы и есть подобие сфинксов и не знаем, кем являемся на самом деле. Единственный способ существовать в согласии с жизнью – это быть в разногласии с самим собой. Нелепость – вещь священная.

Устанавливать теории, обдумывая их терпеливо и честно, – только затем, чтобы потом действовать наоборот, против них, оправдывая наши действия как раз теми теориями, которые их осуждают. Определять для себя путь в жизни – только затем, чтобы потом этим путем не следовать. Приобретать все признаки и установки, характерные для того существа, каким мы не являемся и не стремимся ни быть, ни даже считаться.

Покупать книги – чтобы их не читать; ходить на концерты не для того, чтобы слушать музыку, и не для того, чтобы увидеться с теми, кто там присутствует; предпринимать длительные прогулки – чтобы устать от ходьбы, и проводить дни в поле, потому что нам там не нравятся.

Порой меня будто стесняет некое телесное ощущение, некое подспудное гнетущее беспокойство, сегодня переполнившее меня настолько, что я не смог есть, не смог пить, как обычно, в харчевне, в которой я поддерживаю свое физическое существование. И когда я выходил оттуда, слуга, заметив, что бутылка вина опустошена лишь наполовину, повернулся ко мне и сказал: «До скорой встречи, сеньор Суареш, желаю вам скорее поправиться».

Эта простая фраза прозвучала для меня горном, успокоившим мою душу так, как если бы на облачном небе внезапно поднявшийся ветер разогнал все тучи. И тогда я осознал нечто, никогда так ясно мне не представлявшееся: что к этим прислужникам в трактире, этим цирюльникам, этим мальчикам-посыльным на углу я испытываю возникшую стихийно симпатию, что не имею права пренебрегать этими людьми, которые так хорошо ко мне относятся, не допуская между нами большей близости, неуместно высказанной...

Дружба имеет свои тонкости.

Одни управляют миром, другие сами являются миром. Между каким-нибудь американским миллионером, Цезарем, Наполеоном или Лениным и лидером социалистов в деревне нет качественного различия, только количественное. Ниже их находимся мы, бесформенные, драматург-путаник Вильям Шекспир, школьный учитель Джон Мильтон, бродяга Данте Алигьери, мальчик на посылах, который мне вчера принес извещение, я, цирюльник, рассказывающий мне анекдоты, слуга, который только что проявил свои дружеские чувства ко мне, пожелав мне доброго здоровья при виде недопитой мною бутылки вина.

Передо мной олеография неизбежности. Смотрю на нее, не зная, вижу ли. На витрине она выставлена вместе с другими и находится в центре витрины в пролете лестницы.

Она прижимает к груди весну, и глаза ее, устремленные на меня, грустны. Улыбается блеском бумаги и алым цветом щек. Небо за ней ясно-голубое. Вырез ее небольших губ своим выражением дополняет ее печальный взгляд, кажется, она глядит на меня с большим сожалением. Ее рука, поддерживающая букет цветов, напоминает мне чью-то знакомую руку. Платье или блузка открывают грудь в глубоком овальном вырезе. Глаза ее действительно грустны: их взгляд из реальности картины проникает в душу, как взгляд живого человека. Она пришла с весной. Ее печальные глаза велики, но это не имеет значения. Я отрываю себя от витрины большим усилием. Пересекаю улицу и оборачиваюсь – попытка обреченного мятежа. Она по-прежнему хранит подаренную ей весну, а глаза ее грустны, как то, чего у меня нет в жизни. Оказывается, с такого расстояния олеография имеет больше цветов. Я и не заметил, что голову

ее обвивает розовая лента. Замечаю также в ее таких живых, хоть и нарисованных, глазах, пугающее выражение: неизбежное предостережение совести, тайный крик имеющего душу. Ценой большого усилия пробуждаюсь от сна, в котором я промок, как собака, отряхивающая с себя влагу густого, непроницаемого тумана. Довершают ощущение дезертирства, какое возникает при прощании с любой другой вещью, печальные глаза самой жизни с этой метафизической олеографии, что издали смотрят на меня так, будто я все знаю о Боге. Внизу под гравюрой – календарь. Снизу и сверху гравюра обрамлена черными линиями – границами 1929 года с устаревшей, каллиграфически выписанной виньеткой, прикрывающей неизбежное первое января. Печальные глаза улыбаются мне иронически.

Забавно, откуда я, как оказалось, знаю эту фигуру. В одном углу нашей конторы висит точно такой же календарь, и я видел его много раз. По какой-то причине, таящейся то ли в олеографии, то ли во мне самом, экземпляр в конторе не смотрит на меня так. Это просто олеография на блестящей бумаге, которая висит над головой нашего служащего Алвеша-левши, выполняя в своем сомнамбулическом сне роль обрамления, смягчающего его резкие черты.

Мне хочется посмеяться надо всем этим, но я чувствую сильное недомогание. Меня внезапно охватывает душевная дрожь. Не имею силы возмутиться против такой нелепости. Не окно ли это, через которое приближается ко мне тайна Бога, против моего желания? Куда обращена эта витрина в пролете лестницы? Что это за глаза глядят на меня так пристально с олеографии? Я почти дрожу. Непроизвольно поднимаю глаза к тому отдаленному углу конторы, где находится настоящая олеография. Постоянно возвращаюсь к ней взглядом.

Придавать каждому чувству – индивидуальность, каждому состоянию души – душу.

За поворотом дороги было много девушек. Они приближались, напевая, и голоса их звучали счастливо. Не знаю, кем они были. Я слушал их голоса издали некоторое время без определенного чувства. Но горечь, связанная с ними, легла мне на сердце.

Горечь за их будущее? За их беспечную радость, еще не знающую боли? А может быть, не только из-за них я печалился? кто знает? Может быть, только из-за себя.

Литература, являясь искусством, обвенчанным с мыслью и с реализацией, но избежавшей бесчестия реальности, представляется мне той целью, к которой должны бы устремляться все усилия человечества, если бы оно было действительно человечеством, то есть совокупностью гуманных существ, а не бесполезных животных. Верю, что говорить о какой-то вещи означает сохранить ей ее добродетель и убрать из нее страх. Поля в рассказах о них зеленее, нежели в природе. Цветы, если они описаны чудесными словами, подсказанными воображением поэта, сохраняют свои краски вечно, чего жизнь растительных клеток не позволит никогда.

Двигаться – значит жить, говорить – значит выживать. Нет ничего в реальной жизни, что не существовало бы потому, что было кем-то превосходно описано. Критики «маленького дома» имеют обыкновение обращать внимание, что подобная поэма, с так тщательно подобраным ритмом, не имела в итоге иной цели, как поведать миру, что день был хорош. Однако сказать, что день хорош, достаточно сложно, а сам этот день проходит, как и все на свете. Мы должны стремиться сохранить этот прекрасный день в многоцветной и многословной памяти и, таким образом, усыпать свежими цветами или украсить новыми звездами поля или небеса – пустые и преходящие.

Все перенимает от нас наши свойства, становится нами, так будет и с нашими последователями, с теми, кто придет за нами в самом отдаленном будущем; мы будем страстно воображать его, это вымечтанное нами, как бы впечатанное воображением в наше тело, существующее на самом деле. Я не верю, что история может быть чем-то большим, в своей большой, несколько

поблекшей панораме, чем простая смена интерпретаций, толкований, смутное согласие невнимательных свидетелей. Некий романист включает в себя нас всех, и мы рассказываем, когда видим, потому что видение наше – сложный процесс, как и все остальное.

В этот момент столько сложных, фундаментальных идей роится в моей голове, о стольких по-настоящему метафизических вещах я должен рассказать, что внезапно чувствую себя обессиленным и решаю ничего больше не писать, ни о чем больше не думать, но подождать, когда лихорадка рассказывания отпустит меня в сон, и я смогу наслаждаться всем тем, о чем стремился рассказать.

Запах музыки или мечты, любая вещь, которая заставляла бы почти чувствовать, любая вещь, которая заставляла бы не думать.

После того как последние капли дождя начали задерживаться на скате крыши, а посреди вымощенной камнем улицы постепенно проявилась отраженная лазурь неба, звук от движения транспорта принял другой оттенок, более высокий и радостный, послышался шум открываемых окон – навстречу солнцу. Тогда, вдоль по узенькой улице, из глубины ее, от ее следующего поворота, покрывая все звуки, разлился громкий призыв первого продавца лотереи, и гвозди, забиваемые в ящики в магазине на смежной улице, засверкали в прозрачном воздухе.

Был один из тех неопределенных праздников, официально признанных, но несохранившихся. Было спокойно, но кто-то работал, а мне было нечего делать. Поднялся я рано и медлил, готовясь вступить в утреннюю жизнь. Слонялся из угла в угол по комнате и вслух бессвязно мечтал о недостижимом – вещах, что я позабыл сделать, невозможных и неопределенных стремлениях, беседах, непреклонных и непрерывных, которые, если бы состоялись, непременно имели бы успех. И в этих мечтах, где не было ни величия, ни покоя, в этом ожидании без надежды и цели, растрачивались мои шаги этим свободным утром, а мои высокие слова, произнесенные тихо, звучали многозначно в монастыре моего обыкновенного одиночества.

Моя личность, если бы ее оценивали посторонние наблюдатели, имела бы смешную сторону точно так же, как имеет ее любой человек, сколь бы серьезным он ни был. Поверх простой, несколько неряшливой пижамы я надел старое пальто, которое мне служит для этих утренних бодрствований. Тапочки мои порвались, особенно левая. И, сунув руки в карманы уже отжившего свой век пиджака, я превращал мою небольшую комнату в проспект, меряя ее широкими, решительными шагами, воплощая в бесполезной мечте сновидение, такое же, как у всех людей.

Сквозь открытую свежесть моего единственного окна доносился стук падающих с крыши крупных капель дождя. Еще расплывчатой казалась зелень из-за льющейся воды. Небо между тем уже приобрело торжествующий синий цвет, и облака, остававшиеся от побежденного или уставшего дождя, отступали, вытягивая в сторону Крепости настоящие дороги по всему небу.

Это был повод для радости. Но что-то меня тяготило, неясная тоска, желание, неопределенное, но не пустяковое. Быть может, во мне замедлялось ощущение жизни. И когда я высунулся из высокого окна, глядя на улицу, но не видя ее, я внезапно ощутил себя влажной тряпкой для стирания пыли, из тех, что вывешивают в окно для просушки, но забывают скомканными на подоконнике, так что они медленно покрываются пятнами.

Я узнаю – не уверен, что с грустью, – человеческую черствость собственного сердца. Для меня имеет большее значение какое-либо прилагательное, чем искреннее рыдание души. Мой учитель Виейр.<sup>2</sup>

Но иногда я бываю иным, у меня находятся слезы, из тех горячих слез людей, у кого нет и не было матери; и мои глаза, горящие от этих мертвых слез, горят в моем сердце.

---

<sup>2</sup> Виейр Антониу (1608–1697) – португальский миссионер-иезуит, дипломат, философ и писатель.

Я не помню своей матери. Она умерла, когда мне был год от роду. Все, что есть рассеянного и грубого в моей восприимчивости, приходит из-за отсутствия этого тепла, из-за бесполезной тоски о тех поцелуях, которых я не помню. Я – искусственный. Всегда просыпался у чужой груди, укачиваемый чужими.

Ах, это ностальгия по иному, чем я мог бы стать, вот что меня рассеивает и пугает! Кем бы я мог стать, если бы мне была дана та нежность, идущая еще от материнского чрева и изливающаяся поцелуями на маленьком личике?

Возможно, что тоска по небывшей материнской ласке сыграла решающую роль, внесла безразличие в мою душу, в мои чувства. Тот, кто ребенком прижимал мое личико к груди, не мог прижать меня к своему сердцу. Она находилась далеко, в месте упокоения – та, что была бы моей родной душой, если бы Судьба судила бы мне иметь дорогого человека, родного мне по крови.

Мне говорили позже, что моя мать была красива, и я ничего не отвечал. Был уже готов – телом и душой – к невосприимчивости в чувствах, и то, что говорили мне, еще не было известием о других страницах, менее доступных для воображения.

Мой отец, живший далеко, покончил с собой, когда мне было три года, я никогда его не знал. Даже не знал, почему он жил далеко от меня. Да я и не хотел этого знать. Помню, я воспринял известие о его смерти как значительное событие, это было во время первого завтрака. Помню, как на меня время от времени смотрели. И я в ответ смотрел на них, понимая с трудом. Потом ел, скрупулезно соблюдая правила, ведь, возможно, за мной продолжали незаметно наблюдать.

Я есть все это, хотя и не хотел бы быть этим, в неясной глубине моей гибельной впечатлительности.

Часы, которые находятся там, позади, в погруженном в сон доме, бьют четким учетверенным боем четырех часов ночи. Я еще не спал, да и не надеюсь заснуть. И не потому я не сплю, что на чем-то сосредоточен, не потому, чтобы что-то давило меня и беспокоило, я нахожусь в тени, которую блуждающий, подобный лунному, свет уличных фонарей делает еще более одинокой, покинутой, – мертвое молчание моего чужого тела. Не умею думать о том сне, в каком пребываю; не умею почувствовать тот сон, какой ко мне не приходит.

Все вокруг меня – обнаженный мир, абстрактный, сплетенный из ночных отрицаний. Я разделяюсь между состояниями усталости и беспокойства и постигаю каким-то ощущением моего тела метафизическое знание о мистерии всего сущего. Порой моя душа размягчается, и тогда бесформенные детали повседневной жизни колеблются на поверхности сознания, и я мечусь по этой поверхности, не имея возможности заснуть. А чаще, в согласии с тем полусном, в каком я пребываю, смутные изображения произвольного поэтического колорита просачиваются сквозь мое невнимание, представляя собой некое бесшумное зрелище. Мои глаза не закрыты полностью. То, что открывается ограниченному полужакрытыми веками зрению, озарено светом, идущим издали; это фонари, зажженные там, внизу, в конце пустынной улицы.

Перестать, заснуть, заменить это прерывистое сознание лучшими меланхолическими состояниями, сообщенными по секрету, о котором я еще не знаю!.. Перестать, проходить текущим и прибрежным, приливом-отливом широкого моря, на видимых берегах ночи, где спалось бы действительно!.. Перестать, быть неизвестным, чем-то внешним, движением ветвей в далеких аллеях, хрупким скольжением листьев, скорее звуком, чем падением, открытым морем, испещренным водными струями там, вдали, и всей бесконечностью ночных парков, потерянных среди постоянной путаницы, естественных лабиринтов тьмы!.. Перестать, окончательно закончиться, но остаться, как бы метафорически, быть страницей какой-то книги, прядью распущенных волос, колебанием вящегося растения у полуоткрытого окна, никому не

нужными шагами по мелкому щебню на повороте улицы, последним высоким дымком заснувшей деревни, оцепенением кнута ломового извозчика у края утренней дороги... Нелепость, путаница, угасание – все, что только не было бы жизнью...

И я дремлю, как умею, без сна и отдыха, растительная жизнь, жизнь фальшивая, и под моими веками беспокойно парит, как спокойная пена какого-то грязного моря, далекий отблеск немых уличных фонарей.

Сплю и не сплю.

С другой стороны от меня, там, позади моей постели, тишина дома прикасается к бесконечности. Я слышу ход времени, капля за каплей, ни одна капля не падает беззвучно. Память, сведенная на нет, о том, что было или чем я был, ощутимо сдавливает мое сердце. Чувствую, что моя голова лежит на подушке, превратившейся в холм. Ткань наволочки касается моей кожи, будто люди касаются друг друга в тени. А ушная раковина, прилегающая к подушке, с математической точностью впечатывается в мой мозг. Моргаю от усталости, и мои ресницы производят едва заметный шорох, неслышный на чувствительной белизне взбитой подушки. Дышу, вздыхая, и мое дыхание – так случается – становится уже не моим. Страдаю, не чувствуя и не думая. Часы в доме, в определенном месте, там, в бесконечности, бьют полчаса, сухое, обезличенное время. Вот и все – так, все – такое глубокое, все – такое черное и холодное!

Прохожу временами, прохожу молчаниями, бесформенные миры проходят через меня.

Внезапно, будто дитя из Таинства, поет петух, невзирая на ночь. Я могу спать, ведь во мне – утро. Чувствую, что улыбаюсь, легко отодвигая мягкие застежки наволочки, мешающие мне. Могу отдать себя жизни, могу заснуть, могу забыть о себе... И благодаря новому сну, что уже бросает на меня тень, или вспоминаю о певшем петухе, или это он действительно опять поет.

## Симфония одной беспокойной ночи

Все было погружено в сон, будто весь мир оказался одной ошибкой; и ветер, колеблясь неясно, уподобился бесформенному знамени, развернутому над нереальным зданием. Но ничего не разрывалось в воздухе, чистом и густом, и оконные рамы подрагивали стеклами, это как бы слышалось здесь. Во глубине всего, молчаливая, ночь была гробницей Бога (душа страдала, жалея Бога).

И внезапно – новый порядок всемирных вещей воцарялся над городом – ветер свистел время от времени, и было спящее познание о множестве волнений в вышине. Потом ночь закрывалась, точно люк, и наступивший покой вызывал желание уснуть.

В первые дни осени, пришедшей внезапно, когда сумерки делают очевидной некую преждевременность и кажется, что мы опаздываем во всем, что мы делаем с нашим днем, я наслаждаюсь даже посреди каждодневного труда этим предвосхищением отдыха от работы, которое сама тень несет с собою, поэтому существует ночь, и ночь – это сон, родные края, освобождение. Когда огни зажигаются в просторной конторе и она перестает быть темной, когда вечерет, но дневные труды еще не закончены, я ощущаю какой-то странный комфорт, будто это воспоминание другого человека, и спокойно пишу так, как обычно читают, до тех пор, пока не чувствую, что погружаюсь в сон.

Все мы – рабы внешних обстоятельств: один солнечный день открывает нам широкие возможности в обычном кафе в переулке; одна тень в природе втягивает нас внутрь себя, и мы едва укрываемся в доме без дверей, которым являемся сами; один приход ночи, даже посреди привычного дневного окружения, расширяет, как медленно раскрывающийся веер, глубинное сознание, готовящее нас к отдыху.

Но все это не задерживает работу, скорее, наоборот: оживляет ее. Мы уже не работаем, мы забавляемся с тем предметом, к которому мы прикованы, как осужденные носить кандалы. И внезапно, на широком разлинованном листе моей судьбы – числителя – старинный дом моих старых тетюшек дает мне приют, он закрыт для мира, чай в сонные десять часов, и керосиновая лампа моего утраченного детства, освещая только накрытый льняной скатертью стол, делает фигуру Мореяры расплывающейся, неясной, освещает каким-то тусклым светом таящиеся там, за мною, бесконечности. Несут чай – и прислуга, старше моих тетюшек, приносит его вместе с руинами моего сна и плохим настроением, навеянным нежной памятью о прошлом, – и я выписываю без ошибок определенную денежную сумму или некий итог сквозь все мое умершее прошлое. Снова погружаюсь в себя, теряю себя в себе, забываю о далеких ночах, незапятнанных еще долгом и миром, свободных от таинств и от будущего.

И так нежно это чувство, так отчуждает оно меня от дебета и от кредита, что в случае, если кто-то задает мне вопрос, отвечаю мягко, словно мое существо – полое внутри, будто оно – не более чем печатная машинка, что я ношу с собою, портативный я, с откинутой крышкой, готовый для письма. Меня не задевает, что прерывают мои мечты: они такие нежные, что остаются со мной, когда я говорю, пишу, отвечаю, даже долго беседую с кем-то. И сквозь все это мой потерянный чай заканчивается, и контора закрывается... Поднимаюсь от книги, закрывая ее медленно, мои глаза устали от не пришедших к ним слез, и меня увлекает в свой круговорот какая-то смесь ощущений, я страдаю оттого, что вместе с конторой закрывается и моя мечта; что с тем жестом, которым я откладываю в сторону книгу, скрывается от меня безвозвратное прошлое; и надо идти в постель жизни, не имея ни сна, ни спутника и ни покоя, в приливы и отливы моего спутанного сознания, подобные ночным приливам и отливом в конце судеб, исполненных ностальгии и отчаяния.

Иногда я думаю, что никогда не уйду с улицы Золотильщиков. И это, написанное мной, тогда представляется мне вечностью.

Не удовольствие, не слава, не власть: свобода, только свобода.

Переходить от призраков веры к привидениям разума – это всего лишь поменять одну тюремную камеру на другую. Искусство, если оно освобождает нас от идолов, мирных и абстрактных, нас освобождает также от благородных идей и социальной озабоченности – таких же идолов.

Найти личность, потеряв ее, – даже вера одобряет такое осознание судьбы.

...Глубокое и тоскливое презрение со стороны тех, кто работает для человечества, тех, кто сражается за родину и отдает свою жизнь за сохранение цивилизации...

...презрение, полное тоски, со стороны тех, не знающих, что единственная реальность для каждого – его собственная душа и все остальное – внешний мир и другие люди – некрасивый кошмар, как результат мечтания в условиях несварения духа.

Моя антипатия к усилию доходит до страха, на чисто физическом уровне, перед всеми формами силы принуждающей. И война, и труд, энергичный и продуктивный, и поддержка других... все это представляется мне не более, чем продуктом определенного бесстыдства...

И перед высшей реальностью моей души все полезное и внешнее мне представляется ничтожным и тривиальным перед верховным и чистым величием моих самых необычных и повторяющихся мечтаний. Они для меня гораздо более реальны.

Не обшарпанные стены моей безликой комнаты, не старые письменные столы чужой конторы, не нищета прилегающих к Байше улиц, исхоженных мною настолько, что запустение уже представляется мне неотъемлемым их свойством, – не эта грязь повседневной жизни вызывает у меня порой душевную тошноту. Причина в людях, что обычно окружают меня, в душах тех, кто, не зная меня, ежедневно стремится меня узнать в тесном общении и беседах, из-за которых мой дух сжимается от чисто физического отвращения. Эта однообразная грязь их жизни, протекающей параллельно моей, внешней, это их представление о себе как о существах, мне подобных, – это заковывает меня в кандалы, обрекает меня на заключение, делает ненастоящим и нищим.

Бывают моменты, когда каждая подробность, деталь обыденного приковывает мое внимание, и у меня появляется страсть читать ясно все, что меня окружает. Тогда я вижу так, как, по словам Виейры, писал брат Луиш де Соуса<sup>3</sup> – «о заурядном – необычайно», тогда я – поэт с той душой, с которой греки сформировали духовный возраст поэзии. Но случаются иные моменты, и один из них – нынешний, стесняющий мое дыхание, когда я чувствую себя изолированным от внешнего и словно переносюсь в дождливую грязную ночь на затерянном полустанке, в стороне от главной дороги, меж двух поездов третьего класса.

Да, моя внутренняя способность часто быть объективным и, таким образом, исчезать в собственных мыслях, страдает тем же, что и все способности, и даже все пороки, воздержимся от определения... Тогда я спрашиваю себя, как я выживаю, как нахожу в себе смелость быть таким низким, чтобы оставаться здесь, среди этих людей, быть одинаковым с ними, искренне покорным иллюзии человеческих отбросов, возникающей при виде их всех? Вспоминаются мне в далеком свете маяка все рыдания, доказывающие, что воображение – это женщина: само-

---

<sup>3</sup> Брат Луиш де Соуса – Мануэл де Соуса Коутинью (1555–1632), португальский писатель, священник.

убийство, бегство, отречение, великие проявления аристократизма индивидуальности, плащ и шпага существований не на подмостках сцены.

Но совершенная Джульетта из иной действительности закрыла над живущим во мне Ромео высокое окно литературного свидания. Она послушна своему отцу; он послушен своему отцу. Продолжается вражда Монтекки и Капулетти; падает занавес над тем, что непривычно; и я возвращаюсь домой – в ту комнату, скупая хозяйка которой отсутствует, к ее сыновьям, которых я вижу редко, к людям в конторе, к которым я вернусь только завтра – как всегда, в форме торгового работника с высоким воротником, поднятым без всякой неловкости над шеей поэта, в сапогах, покупаемых всегда в одном и том же магазине, обходя автоматически холодные лужи, со смешанным чувством озабоченности и от того, что забыл дома зонт, и от разлада с собственной душой.

## Болезненный промежуток

Вещь, брошенная в угол, тряпка, упавшая на дорогу, моя низкая сущность притворяется перед жизнью.

Завидую всем людям, кто не является мною. Поскольку среди всего невозможного именно это всегда представлялось мне наименее возможным, оно составляло суть моей повседневной тоски, отчаяния всех моих грустных часов.

Один слабый луч тусклого солнца лишил меня физического ощущения зрения. Желтизна тепла застыла на зеленой черноте деревьев.

Оцепенение...

Внезапно, словно судьба-хирург вернула меня из мира слепых, я внутренним зрением ясно вижу свое существование. Вижу, что все, что я делаю, о чем думаю, чем я являюсь, – все это ошибка и безумие. Поражаюсь, как я мог до сих пор не понимать этого. И удивляясь этому, вижу, что в конечном счете я не существую вообще.

Вижу, будто в свете яркого солнца, разрывающего тучи, мою прошлую жизнь; и замечаю с метафизическим испугом, как все мои действия, наиболее правильные, мои идеи, наиболее ясные, и мои решения, наиболее логичные, были не более чем врожденным опьянением, природным сумасшествием, огромным незнанием. Я даже не играл. Играли мною. Я не был актером, но лишь его игрой.

Все, что я делаю, думаю, что представляю собой, – это сумма подчинений или некое поддельное существо, кого я считал собой, посредством кого взаимодействовал с внешним, или же, под грузом обстоятельств, я выдумывал существо, бывшее воздухом, которым я дышал. Я оказываюсь в этот момент прозрения внезапным отшельником, признающим себя изгнанником там, где был гражданином. В самом личном, о чем я думал, я не был собой.

В это время овладевает мной смешанный с презрением ужас перед жизнью, упадок духа, переходящий границы моей сознающей индивидуальности. Знаю, что ошибался, шел без дороги, никогда не жил, существовал только потому, что заполнял время своим сознанием и мышлением. И мое ощущение собственной сущности напоминает пробуждение после сна, заполненного реальными сновидениями, или освобождение из привычной мне темницы в результате землетрясения.

Угнетает меня, действительно угнетает, как некое проклятие знания, это неожиданное представление о моей подлинной сущности, о той, что сонно бродит меж своими ощущениями и зрительными впечатлениями.

И так сложно описать, что именно чувствуется, когда чувствуется, что в действительности имеется, и что душа – реальное существо; я не знаю таких слов в человеческом языке, которые бы могли это все определить. Не знаю, не заболел ли я лихорадкой ощущений, выздоровев от лихорадки сонной. Да, повторяю, я чувствую себя путником, внезапно обнаружившим, что находится в каком-то диковинном поселении, и не знающим, как попал туда; со мной случилось нечто подобное тому, что происходит с теряющими память и долгое время живущими как бы в чужой шкуре. Я жил в чужой шкуре долгое время – с момента рождения и пробуждения сознания – и просыпаюсь сейчас, на середине моста, склонившись над рекой и зная, что существую более реально, чем это было до сих пор. Но город мне незнаком, улицы новые, и с этим ничего не поделаешь. Поэтому я жду, склонившись, на мосту, чтобы он привел меня к истине, и я из недействительного и вымышленного стал настоящим и духовным.

Был момент, и вот он прошел. Я уже различаю окружающую меня мебель, рисунки на старых обоях, вижу солнце сквозь запыленные стекла окон. На один момент открылась мне истина. Был миг просветления и понимания, чем великие люди являются в их жизни. В их жизни? Вспоминаю их поступки и слова, и не знаю, не испытывал ли их тоже победоносный Демон Реальности. Ничего не знать о себе означает жить. Знать о себе немного означает думать. Понять себя внезапно, как в этот ослепительный миг, – значит неожиданно познать какую-то внутреннюю субстанцию, магическую сущность души. Но этот внезапный свет все сжигает, все уничтожает, оставляя нас совершенно нагими.

Это было только одно мгновение, и я себя увидел. После я даже не мог бы объяснить, что это было. И под конец я ощущаю сонливость, почему? я не знаю почему, просто нахожу, что это чувство – сонливость.

Порой меня неизвестно отчего будто касается предчувствие смерти. Или, может быть, неизвестная болезнь, которая не проявляется в боли и под конец одухотворяется, или усталость, требующая сна, такого глубокого, что простой сон для нее недостаточен, – несомненно, я чувствую себя точно больной, чье состояние ухудшилось, раскидывающий без сил, без тоски, слабые руки поверх печального покрывала.

Полагаю, это и есть то, что мы называем смертью. Не хочу говорить о таинстве смерти, ведь я его не постигаю, но это физическое ощущение, что жизнь прекращается. Человечество боится смерти, но бессознательно; обычный человек храбро сражается, обычный человек, больной или старый, редко смотрит с ужасом на пропасть небытия, видя в этой пропасти именно небытие. Все это – недостаток воображения. Нет ничего глупее: думать, что смерть – это сон. С какой стати, ведь смерть вовсе не похожа на сон? Главное свойство сна – что мы можем проснуться, а от смерти, как мы предполагаем, проснуться нельзя. И если бы смерть была подобна сну, следовало бы предполагать, что от смерти тоже можно пробудиться. Однако вовсе не так представляет себе это обычный человек: он думает, что смерть – это сон, от которого не просыпаются, который нельзя определить. Смерть не подобна сну, потому что во сне я жив и сплю; не знаю, как может человек с чем-то сравнивать смерть, ведь он не имеет опыта смерти.

Для меня, когда я вижу умершего, смерть подобна отъезду. Труп оставляет во мне впечатление сброшенной одежды. Кто-то уходит и уже не нуждается в том единственном костюме, который он носил.

Тишина, возникающая из шума дождя, распространяется – крещендо серой монотонности – вдоль узенькой улицы, которую я разглядываю. Сплю, бодрствуя, стоя перед оконной рамой, на которую опираюсь. Хочу понять, какие ощущения во мне возникают при виде падающих струй воды, сумрачно светящейся, – в отличие от грязных фасадов и открытых окон. И не знаю, что чувствую, не знаю, что хочу чувствовать, не знаю ни того, о чем думаю, ни того, кто я такой.

Вся отложенная горечь моей жизни сбрасывает перед моими застывшими глазами одежду естественной радости, носимую все эти долгие дни. Понимаю, что столько раз казавшийся себе радостным, столько раз довольным я неизменно оставался печальным. И та часть меня, что это понимает, находится за мной, будто склоняясь надо мной, опирающимся на оконную раму, над моими плечами, или даже над головой моей, и видит близко – ближе, чем я, – перед собой медлительный дождь, уже слегка волнистый, творящий своим движением из темного неприветливого воздуха плетеное кружево, филигрань.

Оставить все обязанности, даже те, которые нас ни к чему не обязывают, отвергнуть родные края, даже те, что не были нашими, жить неопределенностью, руинами прошлого, среди необъятных пурпуров безумия и поддельных кружев придуманного величия... Быть чем-то,

что не чувствовало бы ни скорби идущего снаружи дождя, ни боли внутренней пустоты... Бродить без души и мысли, ощущение без ощущения, по дороге, огибающей холмы, по долинам, скрытым между обрывистыми откосами, – таким дальним, глубоким, роковым... Затеряться между пейзажами, подобными картинам. Небытие дали и ее оттенков...

Легкий вздох ветра, неслышимый за окнами, разрывает неровностями прямолинейное падение дождя. Проясняется невидимая мне часть неба. Понимаю это оттого, что за наполовину промытыми стеклами переднего окна уже смутно вижу календарь на стене, внутри комнаты, что еще недавно не видел.

Забываю. Не вижу и не думаю.

Дождь заканчивается, и от него остается на краткий миг тончайшая алмазная пыль в воздухе, словно где-то наверху стряхнули крошки с огромной лазоревой скатерти. Чувствуется, что часть неба уже открылась. Календарь виден через окно во всех своих деталях. На нем женское лицо, остальное я тоже хорошо узнаю, особенно изображение зубной пасты.

Но о чем я думал до того, как потерял физическое зрение? Не знаю. Желание? Усилие? Жизнь? Прибывающий свет заставляет чувствовать, что небо почти все очистилось. Но нет покоя – ох, нет и не будет никогда! – в глубине моего сердца, только старый колодец в глубине давно проданного сада, только память детства в пыли, оставленная на чердаке чужого дома. Нет покоя – и горе мне! – даже нет желания его иметь...

Не толкую иначе чем как недостаток чистоты, инертное постоянство, в каком пребывает моя собственная плоская жизнь, подобная пыли или грязи на никогда не меняющейся поверхности.

Так же как мы моемся, должны мы чистить свою судьбу, менять жизнь, как меняем одежду, но не так, как едим или спим – лишь для поддержания жизни, – ради уважения к себе самим, словно к другим существам, мы должны иметь то, что мы сами зовем чистоплотностью.

Для многих нечистоплотность – не склонность, но, скорее, безразличие разума. И для многих стертость и монотонность жизни не является чем-то желанным или естественной покорностью тому, чего не желаешь, но угасанием разума в них самих, произвольной иронией знания.

Есть свиньи, ненавидящие собственное свинство, но не бегущие от него, подобно тому как испуганный зачастую не убегает от опасности. Есть свиньи волей судьбы, как я, они не бегут от банальной повседневности из-за собственного бессилия. Это птицы, зачарованные отсутствующей змеей; мошки, танцующие среди стволов деревьев, ничего не видя, пока не попадут на клейкий язык хамелеона.

Вот так и я прогуливаю медленно свою сознательную бессознательность в моем саду обыденности. Вот так прогуливаю свою судьбу, которая проходит, потому что я не двигаюсь; мое время, которое следует своим путем, так как я не следую своим. Не спасают меня от монотонности даже мои короткие замечания относительно этой монотонности. Я доволен, что в моей келье есть окна, пусть и за решетками, и пишу на стеклах, на пыли необходимости, свое имя большими буквами, ежедневную роспись на моем договоре со смертью.

Со смертью? Нет, даже не со смертью. Кто живет, как я, не умирает: заканчивается, увядает, перестает прозябать. Место, где он был, остается существовать без него, улица, по которой он ходил, остается прежней без него, дом, где он жил, заселен другими. Все – есть, и мы называем это небытием; но и эту трагедию отрицания мы не можем встретить аплодисментами, ведь мы и не знаем наверняка, есть ли небытие, мы – растения истины, равно как и жизни; мы – пыль, что существует также внутри, как и снаружи оконных стекол; мы – внуки Судьбы и пасынки Бога, обвенчавшегося с Вечной Ночью, когда она стала вдовой Хаоса, породившего нас.

Покинуть улицу Золотильщиков для Невозможного... Подняться от письменного стола для Неведомого... Но это подсказывается Здравым Смыслом – Великой Книгой, как говорят французы.

Существует усталость абстрактного разума, и это самая страшная усталость. Она не давит так, как телесное утомление, не тревожит так, как утомление от познания и от чувствования. Это тяжесть от постижения мира, удушье души.

Поэтому, словно подхваченные ветром и созданные тучами, все идеи, приходившие к нам в течение жизни, все стремления и замыслы, на которых мы основывали надежды на ее продолжение, разрываются, открываются, удаляются, становясь обрывками туманов, лохмотьями того, чего не было, да и быть не могло. И за этим поражением появляется чистое одиночество, черное и неумолимое, пустынного звездного неба.

Таинство жизни по-разному огорчает и пугает нас. Порой оно нисходит на нас, будто бесформенный призрак, и душа трепещет от ужаснейшего из страхов – страха перед уродливым воплощением небытия... В другой раз оно находится за нами, видимое только, пока мы не оборачиваемся посмотреть на него, и это есть вся истина, внушающая глубочайший ужас от ее неведения.

Но тот ужас, что сегодня уничтожает меня, менее благороден и разъедает сильнее. Это желание не иметь мышления, стремление не быть ничем, сознательное отчаяние всех клеточек души. Это внезапное осознание своего вечного заточения в келье бесконечности. Разве можно думать о побеге, если эта келья – весь мир?

И потому приходит ко мне желание, чрезмерное, абсурдное, напоминающее сатанизм, предшествующий Сатане, чтобы однажды – в день вне времени и материи – случилось бегство от Бога, и в нас осталось бы нечто самое глубокое, чтобы стать частью бытия или небытия.

Повторяется один сон, я не умею его объяснить, и он часто одолевает меня, впрочем, в отношении такого необычного явления лучше сказать, что он одолевает кого-то. Я иду по улице, но мне кажется, что я сижу, а мое внимание, открытое для всего окружающего, тем не менее подобно расслаблению, отдыху всего тела. Я словно бы не могу обойти прохожего, идущего навстречу. Словно бы не могу произнести слова вслух или хотя бы внутри себя, мысленно, чтобы ответить на вопрос кого-то случайного, кто совпадал бы с моей случайностью. Я будто не могу ни желать, ни надеяться, ни двигаться, я уже будто не владею собой полностью, но, если так можно сказать, владею в отдельности теми элементами, из которых состою. Не могу думать, чувствовать, хотеть. Иду, следую своим путем, странствую. Ничто в моих движениях (я замечаю то, чего другие не замечают) не делает заметным состояние оцепенения, в котором я нахожусь. Это подобно состоянию отсутствия души, с ним должно быть спокойно отдыхающему или откинувшемуся на спинку кресла человеку, – но оно особенно неудобно, даже болезненно, для человека, идущего по улице.

Это ощущение опьянения бездейтельностью, хмель без радости, ее нет ни в самом состоянии, ни в его источнике. Это болезнь без мечты о выздоровлении. Это воодушевленная смерть.

Жить жизнью бесстрастной и культурной, под открытым небом идей, читая, мечтая и записывая свои мысли, жизнью довольно медленной, чтобы всегда быть на грани скуки, достаточно полной размышлениями, чтобы никогда не встретиться со скукой. Жить той жизнью, отдаленной от чувств и от мыслей, только мыслящей чувствами и чувствующей разумом. Застыть на солнце, золотясь, подобно уединенному озеру, окруженному цветами. Хранить в тени то благородство личности, проявляющееся в способности ничего не требовать от жизни. Существовать во вращающихся мирах, словно цветочная пыльца, что поднимается вверх в вечернем воздухе от дуновения ветра, и оцепенение ночи позволяет ей, чуть заметной, опу-

ститься там, где придется. Быть этим, спокойно обладая знанием, ни радостным, ни грустным, постигаемым на солнце его сияния и при свете звезд его отстранения. Не быть ничем бóльшим, не иметь ничего бóльшего, не хотеть бóльшего... Музыка голодного, песенка слепого, реликвия неизвестного путника, бесцельные шаги верблюда в пустыне...

Перечитываю пассивно, с чувством освобождения, те простые фразы Казэйру<sup>4</sup> относительно характера размышлений, к которым его приводит небольшой размер его села. Он говорит: оттого, что оно небольшое, оно видится более принадлежностью мира, чем города; а значит, село больше города...

«Потому, что моя величина зависит от того, что я вижу,  
А не от моего роста».

Фразы, подобные этим, что, кажется, имеют тенденцию возникать без нашего участия, очищают меня от всякой метафизики, которую я невольно вношу в жизнь. Прочитав их, подхожу к моему окну над узенькой улочкой, вглядываюсь в огромное небо с множеством планет – и я свободен и окрылен сиянием, окутывающим меня с головы до ног.

«Моя величина зависит от того, что я вижу!» Каждый раз, когда я вдумываюсь в эту фразу, мне кажется, что она предназначена расцвести, преобразовать вселенную. «Моя величина зависит от того, что я вижу!» Как велики владения разума, простирающиеся от колодца глубоких чувств и ощущений до высоких звезд, отражающихся в нем, а значит, в определенном смысле, в нем обитающих.

И я, сознающий, что умею видеть, смотрю в глубину необъятной объективной метафизики небес, этого воплощения надежности, и они пробуждают во мне желание запеть и умереть с песней на устах. «Моя величина зависит от того, что я вижу!» И расплывчатый лунный свет, мой, полностью, начинает искажать почти черную синеву горизонта.

У меня возникает желание воздеть руки и выкрикивать что-то неведомое и жестокое, слова какого-то возвышенного таинства, утверждать новую необъятную личность в громадных пустых пространствах.

Но я возвращаюсь в себя и успокаиваюсь. «Моя величина зависит от того, что я вижу!» И фраза остается со мной, она заполняет всю душу, на ней зиждутся все мои чувства, и надо мною, внутри меня, как над городом – снаружи воцаряется необъяснимый покой сурового лунного света, заливающего мироздание с падением ночи.

... в грустном беспорядке моих неясных чувств...

Печаль сумерек, сотканная из усталости и лживых отречений, скука и нежелание чувствовать что-либо, боль, как от подавленного рыдания или от постигнутой истины. Разворачивается в моей невнимательной душе этот пейзаж отречения – аллеи оставленных жестов, высокие клумбы, где цветут мечты, которые даже не раскрыли своих глубин, непоследовательности, как заборы из самшита, разделяющие пустые дороги, предположения, как старые водоемы со стоячей водой, без живых струй, все путается и все выглядит жалко в грустном беспорядке моих неясных чувств.

Чтобы понять, я себя разрушил. Понять – значит забыть о любви. Я не знаю ничего другого, ложного и многозначительного одновременно, чем высказывание Леонардо да Винчи о том, что нельзя любить или ненавидеть что-то, чего ты не понимаешь.

---

<sup>4</sup> Казэйру Алберту – один из гетеронимов Ф. Пессоа.

Одиночество приводит меня в отчаяние; общество людей меня угнетает. Присутствие другого человека мешает ходу моих мыслей; я мечтаю в его присутствии с особой рассеянностью, которой не может объяснить мой аналитический разум.

Изолированность вырезает на мне свое изображение, творя меня по своему подобию. В присутствии другого – всего одного человека – мое мышление сразу тормозится, и, если общение служит для большинства людей стимулом к проявлению себя и к разговору, то для меня контакт с другими является «антистимулом», если возможно употребить подобное словечко. Я способен наедине с собою выдумывать столько афоризмов, быстрых ответов на незаданные вопросы, способен на разумное общение ни с кем; но все это исчезает, если я нахожусь рядом с человеком во плоти, я теряю способность рассуждать, говорить и менее чем через час впадаю в сонливость. Да, беседа с людьми вызывает у меня всего лишь желание спать. Только мои друзья, призрачные и воображаемые, только мои беседы, протекающие в мечтах, только они по-настоящему реальны, рельефны, и в них, словно в зеркале, отражается дух.

Огорчает меня, впрочем, сама мысль о необходимости общения с другими. Простое приглашение на ужин к одному из друзей вгоняет меня в тоску, определить которую сложно. Мысль о любой социальной обязанности, долге – пойти на похороны, выполнить какое-то поручение в конторе вместе с другим человеком, встретить на станции кого-то, знакомого или нет, – одна только перспектива этого способна нарушать мои размышления в течение целого дня, а порой и ночью я беспокоюсь и плохо сплю, и когда наконец эта обязанность или долг выполнены, оказывается, что беспокойство было ничем не оправдано; но случай повторяется, а я так и не приобретаю никакого опыта, ничему не обучаюсь.

«Мои привычки от одиночества, не от людей»; не знаю, кто – Руссо или Сенанкур – это сказал.<sup>5</sup> Но это был дух, подобный моему, – или, вернее, дух моей расы.

Разделенная промежутками мерцающая синева блуждающего света, отливающая белым, находится в постоянном движении. Вокруг расстелилось темное поле с его огромным безмолвием и свежими запахами. Покой во всем физически давит и причиняет боль. Бесформенная скука душит меня.

Я редко выхожу в поле, почти никогда не провожу там весь день и не остаюсь там на ночь. Но сегодня мой приятель, в чьем доме я остановился, не позволил мне отказаться от его приглашения, и я пришел сюда, несколько стесняясь, – как застенчивый человек приходит на шумный праздник – пришел сюда с радостью, я всегда любил свежий воздух и этот простор, с удовольствием пообедал и поужинал, а сейчас – глубокая ночь в моей комнате, погруженной в темноту, какой-то нежилой, наполнила меня тоской.

Из окна в моей спальне открывается поле, поле бесконечное, будто все поля на свете, в ночи, смутно усыпанной звездами, где дуновение ветра если не слышится, то чувствуется. Сидя у окна, я впитываю все ощущения, которые возникают при созерцании этой пустоты всеобъемлющей жизни там, за окном. Час гармонирует с тем тревожным чувством, возникающим от многих вещей, начиная от видимой невидимости окружающего и заканчивая неопределенно шершавой от растрескавшейся старой краски поверхностью дерева – чуть белеющего во тьме подоконника, на который опирается моя левая рука.

Столько раз тем не менее я, как мне казалось, не испытывал тревоги при виде этого покоя, от которого убежал бы сейчас, если бы это было легко, а главное, прилично! Столько раз считал, верил – там, внизу, среди узеньких улочек меж высокими домами, – что покой, проза, определенность есть скорее здесь, меж предметами естественными, чем там, где полотно на столе цивилизации заставляет забыть окрашенную древесину сосны, на которой оно лежит. И

<sup>5</sup> На самом деле Пессоа цитирует Шатобриана.

здесь, сейчас, чувствуя себя здоровым, чувствуя приятную усталость, я беспокоен, я подавлен, я тоскую.

Не знаю, только ли со мной это случилось или со всеми, кого цивилизация заставила родиться во второй раз. Но кажется мне, что для меня или для всех, кто чувствует, как я, искусственное стало натуральным, и теперь натуральное нам удивительно. Лучше сказать так: искусственное не стало натуральным; натуральное перестало отличаться от искусственного. Ненавижу средства передвижения и не нуждаюсь в них, ненавижу результаты научных открытий, которые делают жизнь легкой, – телефоны, телеграф – и не нуждаюсь в них, или субпродукты фантазии – фонографы, радиоприемники – они для тех, кого они развлекают, делая их жизнь забавной.

Ничто из этого меня не интересует, я не желаю ничего из этого. Но я люблю реку Тежу из-за большого города на берегу этой реки. Я наслаждаюсь видом неба, потому что вижу его с пятого этажа на улице Байша. Ничего не могут мне дать поле или природа, что сравнилось бы с величавой неправильностью спокойного города в лунном свете, когда смотришь на него с площади Грасы или улицы Сан-Педру-де-Алкántара. Нет для меня таких цветов, что были бы краше залитого солнцем красочного разноцветья Лиссабона.

Красота обнаженного тела ценится только народами, в чьем обычае ходить одетыми. Целомудрие имеет значение, главным образом, для чувственности, как препятствие для энергии, для легкого достижения желаемого.

Искусственность – это один из способов наслаждаться естественностью. То, чем я наслаждаюсь на этих необъятных полях, мне так нравится, потому что я не живу здесь. Не чувствует свободы тот, кто никогда не жил под гнетом принуждения.

Цивилизация учит ценить природу. Искусственное – путь, на котором начинают высоко ценить естественное.

Но тем не менее важно никогда не принимать искусственного за натуральное.

Гармонически сочетать естественное и искусственное – естественное свойство высокой человеческой души.

Черное небо над южным берегом Тежу было зловеще черным по контрасту со сверкающе-белыми крыльями чаек в беспокойном полете. Но день не навел уже на мысли о грозе. Вся масса туч, угрожавших дождем, переместилась к другому берегу, и город внизу, еще влажный от прошедшего ливня, улыбался от вымощенных улиц до небосвода, уже заголубевшего в просветах на севере. Весенняя прохлада пробирала дрожью, как легкий холодок.

В час, подобный этому, пустой и невесомый, приятно позволить мыслям скользить, не задерживаясь ни на чем, но при этом захватывая в свою пустую прозрачность любой предмет в одиноком холоде прояснившегося дня, с черной глубиной вдали так, чтобы предчувствия, подобно чайкам, вызвали в сознании ощущение таинства всего, происходящего в этой огромной темноте.

Но внезапно, противореча моей интимной литературной теме, черная глубина неба на юге воскресила во мне воспоминание, настоящее или выдуманное, о другом небе, может быть виденном мною в другой жизни, на берегу небольшой реки, поросшей печальным тростником, вдали от городов. Сам не знаю, каким образом, но этот речной пейзаж с дикими утками расширился с помощью воображения, и с четкостью, иногда бывающей во сне, я почувствовал себя самого внутри этого воображаемого мною пространства.

Почва, поросшая тростником по берегам рек, заповедник для охотников и для печали, неровные берега, врезающиеся, подобно грязным мысам, в свинцово-желтые воды, и вновь отходящие, образующие илистые заливы для лодок, почти игрушечных, в ручьях с бли-

стающей водой и загадочным загрязнением на поверхности между стеблями тростника, зелеными с черным, там, куда нельзя заходить, чтобы не провалиться в воду.

Безутешность оттого, что небо, мертво-серое, там и сям морщится тучами, гораздо чернее основного тона самих небес. Не чувствую ветра, но он есть, и другой берег, в конце концов представляется далеким островом, позади которого обнаруживается – огромная и затерянная в пространствах река! – другой берег, настоящий, смутно видный на большом расстоянии.

Никто его не достигает и не достигнет. Только если бы благодаря противоречивому движению времени и пространства я мог убежать от мира туда, к этому пейзажу, никто никогда не нашел бы меня там. Я бы напрасно ожидал, сам не зная чего, и не дождался бы ничего, кроме медленного падения ночи, постепенно окрашивающего все пространство в цвет самых черных туч, шаг за шагом проникающих в глубину уничтожаемых ими небес.

И вдруг я чувствую здесь – тот, нездешний, холод. Он касается моего тела, проникая до костей. Глубоко дышу, пробуждаясь от прохлады. Мужчина, что встречается со мной под аркадой недалеко от Болса, смотрит на меня с недоверием, которого не умеет себе объяснить. Черное небо, стягиваясь, опустилось ниже над югом.

Поднялся ветер... Вначале он был подобен голосу пустоты... дуновение пространства внутри какого-то отверстия, отсутствие чего-то в безмолвии воздуха. Потом слышался вздох, вздох из глубины мира, чувствовалось, что дрожат окна и что, на самом деле подул ветер. Потом выше прозвучал глухой рев, рычание чего-то несуществующего среди уплотняющейся ночной темноты, скрежетание предметов, падение минут, один момент конца мира.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.